



НАЗЛО СТРЕЛЯВШИМ – СТАЛИ ЦЕЛОВАТЬСЯ

Филипп Константинович Пираев родился в 1965 году в Тбилиси. Поэт, прозаик, переводчик, художник. Окончил Грузинский государственный институт физкультуры по специальности «шахматный тренер». Сотрудник Национальной библиотеки Республики Татарстан. Публиковался в журналах «Аргамак-Татарстан», «День и Ночь», «Новая реальность», антологии «День поэзии – XXI век» (2015-2016) и других изданиях. Автор книги стихов «Угол взлёта». Живёт в Казани.

Всё меньше говорю, чем дольше
наблюдаю.
Вот женщина идёт, вся кротость
и покой.

Когда-то сумки ей носил
сынишка-даун –
ходячий колобок, улыбчивый
такой.

В трагедиях людских соображая
мало,
несчастный паренёк светился
оттого,
что сердцем понимал: измученная
мама
советам вопреки не бросила его.

Теперь она одна, оставленная
сыном
(такие никогда подолгу
не живут).

Но там, на небесах,
он стройным стал и сильным,
женился и на пять окончил
институт.

И чем тут утешать, чего желать
иногое,
ужель превозносить не ждущую
похвал?
И вроде мог сказать за столько
лет хоть слово,
да всякий раз бревном
при встрече застывал.

Гляжу в её глаза, а в мыслях:
мать честная! —
с такими не сравнить и райскую
зарю.
Я знаю, знаешь ты, что я всё
понимаю,
и полной немотой за всё
благодарю.

Поскольку истина одна,
но правд неисправимо много, —
не наша, в общем-то, вина,
что мы четвертовали Бога,
что разменяли красоту
на манифесты и каноны,
по эту сторону и ту
подняв потешные знамёна.
Не мы, а правды ходят в бой,
производя себя в кумиры,
оставив нам, борясь с судьбой,
жить в этом лучшем из размирий,
где сто веков огонь и дым,
зато всегда найдётся дело
и проходимцам, и святым,
и красным армиям, и белым;
где прав и врач, и костолом,
и мазохист, — считая лишней
границу меж добром и злом...
и даже ты — когда твердишь мне
помимо прочей чепухи,

что большей блажи нет на свете,
чем без конца кропать стихи
в то время как семья и дети...
А я спокоен, как ландшафт, —
пишу себе, стараясь высечь
из тверди слов одну из правд,
важнейшую из сотен тысяч.
А там — пусть, истиной не став,
сгорит она, как все, впустую.
Я существую, значит, прав.
Я прав, а значит, существую.

ГЕНИЙ МОМЕНТА

В Тбилиси шла гражданская
война —
от пуль крошились окна
то и дело.
А в перекрестье бабушка одна
со спящим внуком на скамье
сидела:
в очках алмаз бесстрашия
сверкал,
взлетала бровь презрительно
и гордо,
и карандаш с проворностью
штыка
атаковал газетные кроссворды.

Спасти ребёнка! — первый наш
порыв, —
видать, отшибло разум
у старушки.
Но вдруг, величье мига ощутив,
и мы застыли у судьбы
на мушке
и, гордые ярчайшей из ролей,
оглохшие от ангельских оваций,
всё яростней, хмельнее и смелей —
назло стрелявшим —
стали целоваться.

Что славного в безумии таком —
отдаться звероящеру

на милость?

Зачем на камни не легли ничком,
за ширмами кустов

не схоронились? —

доверились ли миру, как дитя,
в себе ли подтверждение искали
тому, что в крестослове бытия
любовь и жизнь всегда

по вертикали?

Воображали, нервы щекоча,
что две души, прильнувшие

друг к другу,

сияют в райских высях, как свеча
над бездной мракобесия и муки?
А может, просто средь свинцовых

струй

ответственность несли за всё

на свете...

Как будто этот глупый поцелуй
и впрямь кого-то мог сберечь

от смерти.

Укатит грейдер-скарабей
комки обугленного марта —

и вздрогнет порт, зубря,

как мантру,

часы отправки кораблей.

Пойдёт могучая вода,
разгонят кровь лесные корни.

И грёзы гулкой колокольни
помчатся чайками туда,

где кто-то с пристани сойдёт
в своё стрекочущее детство,

чтоб, словно в зеркало, взглядеться
в цедающий душу небосвод;

чтоб в уши ветру прокричать,
слепящий мир вдохнув до боли:
«за что мне это вот раздолье,
откуда эта благодать?»

И гнать моторку на авось —
пока несёт строка живая, —
по дрожи рифмы узнавая,
что это — сердце разлилось.

Рыдать мужчине зрелому
к лицу ли?

Но под вскруживший комнату
мотив,

сынишку на руках держа, танцюю
и плачу, вдруг о детстве

загрустив.

Как мама эту музыку любила!...
И вот, связав сердца и времена,
какая-то магическая сила
созвучьями пленяет шалуна —

затих и внемлет, как, скользя
по плёсам,

журчит рояль, а в кроны
брызжет медь,

но, видя на щеках у папы слёзы,
теряется, готовясь зареветь.

Мой умненький, ты только
не смущайся:

всё дело в том, что я не знаю сам,
то — небо ли растрогалось

от счастья,

иль скрипки резанули по глазам.

В провинции — восторг
и благодать:
бездонно небо и прозрачны
реки;
гудящих строек века не видать,
зато без них слышнее человека.

Хрустим редиской, пьём себе
стишки,
настоянны на сосне и травах,
спасаясь от назойливой мошки
тщеславия и веяний лукавых.

Хотя и тут случается подчас
кому-то грешным делом
захвалиться,
но даже одарённых из нас
не соблазнить надгробием
в столице.

Здесь как-то всё родимей
и светлей —
и плач звезды, и хохот непогоды,
и журавли над кротостью полей
понятны до сих пор без перевода.

И, выходя к берёзам на мороз,
легко согреться и душой,
и телом,
поняв, что жизнь, увы,
не без полос...
но всё же это — чёрные на белом.

Звёзды в небе, в воде и на том
берегу.
Ты стоишь мимо Волги,
впадающей в осень,
устремляя задумчивый взор
к рыбаку,

что плывёт по течению, вёсла
отбросив.

Он плывёт, как звезда, —
никуда не спеша,
вдоль оранжевых бакенов
тысячелетий,
ни за дрожь ветерка в париках
камыша,
ни за волны судьбы пред тобой
не в ответе.

Он скользит меж миров,
прикорнув у руля.
Он застыл в фиолетовой точке
покоя,
созерцая, как маленькой лодкой
Земля
очарованно катится Млечной
рекою.

ТИМУРУ АЛДОШИНУ

Приснился небу странный сон,
где рыбы, выбравшись на сушу,
оделись в шкуры и виссон
и научили мыслить души.

Приснилась душам круговерть
интриг, побоищ и болезней,
в конце которой дура-смерть
зияла гнилозубой бездной.

Тогда приснился людям Бог,
понятливый и воздающий,
включивший в бездне маячок
для возжелавших райских кущей.

А Богу снились времена,
когда, забыв о сне нелепом,

потомки рыб всплывут со дна,
шагнут в любовь и станут —
небом.

По радио трещали о морозах,
шуршали вдоль домов кометы
фар,
и был рассвет беспомощен
и розов,
как в обществе прелестницы
школяр.
Брело слепцом унынье по алле-
ям,
и, всхлипам расставания
под стать,
слетали с губ созвучья и, немея,
озябшей стаей рушились
в тетрадь.

А ты спала, доверив чуткий
профиль
затейливому бризу покрывал,
и тикала судьба, и верный кофе
задумчиво на стуле остывал.
А ты спала и, возгласом
крылатым
встречая восходящую струю,
парила, тайной радостью объята,
у холода Вселенной на краю.

Шептали стены и будильник
плакал:
«Очнись, как можно спать, когда
вокруг,
грозя бедой, как вражеский
оракул,
колотят в бубны полчища
заструж!»

И так частила, на пространство
множась,
нахрапистая белая картечь,
что сковывала разум
невозможность
тебя, закрыв собою, уберечь.

Но ты — спала, лучисто
и спокойно.
И слышалось в дыхании твоём,
что не всевластны немощи
и войны
и не навек сугробы за окном.
И жвалы тьмы растрескивались
где-то,
в труху забвенья тпась перетолочь
у вечных льдов, сжигающих
планеты,
двумя сердцами вырванную ночь.

СКАМЕЙКА

Вот решили с друзьями стихов
навать «о скамье»,
всё равно о какой — запасных,
подсудимых, садовой.
И сажу я в обветренном сквере,
и кажется мне,
что хоть глупо сие, ну да
что там — раз-два и готово.

И сажу я, насилуя строки,
как полный кретин,
среди журчащей агонии снега
и детского визга,
очириканы капеллой кружащихся
спяну куртин
и предчувствием счастья
из солнечной лейки обрызган.

Надо мной о незримом раздолжно
гудит синева,
и реликтовый запах ещё
не родившихся почек
возвещает о том, что душа
и жива, и права,
раз годам вопреки на любовном
наречье лопочет.

И несёт мой бумажный
кораблик поток бытия.

И — поверил бы кто,
что случается небыль такая! —
в небеса деревянным Пегасом
взмывает скамья,
на лазури копытами эти слова
высекая.

У небес же при этом ход мыслей
примерно таков:
развелось рифмачей, всех
упомнить попробуй, сумей-ка.
Но, пожалуй, ещё не бывало
таких чудачков,
что носились бы тут на какой-то
дурацкой скамейке.

А может, это просто павший
лист,
и нет в нём ни печали, ни намёка,
и дух, как прежде, молод
и плечист,
а впереди прекрасное далёко,
и можно рассыпать горстями дни,
себя не оправдавшие строкою,
и засыпать с намереньем одним,
а просыпаться, так и быть,
с другою...

Но только — будто некий лиходей
за счастье бытия утроил плату —
в победном шаге выросших детей
слышней *memento mori*
циферблата;
но только именная звезда
целует всё бессонней
и прощальней

и, уплывая в зимы, поезда
привычных не курлычут
обещаний.

Хлебнувшим нигилизма
и разлук,
познавшим, как всеильны ржа
и плесень,
не в то ль нам остаётся верить,
друг,
что души вековечней наших
песен;
что, в шифрах лиц продумав
каждый штрих
и публикуя на ладонях знаки,
о новых встречах в небесах
иных
глаголет архитектор Зодиака;

что для того сплетает листопад
мосты, фонтаны и тот самый
дворик,
чтоб всё простилось тем,
кто виноват,
и не судили те, кто был нам
дорог;
что, отстегнув полтинник
серебром,
негоже ждать от жизни медной
сдачи?...
а мир стоит любовью и добром,
растущими, как числа
Фибоначчи.

Я не искал причин, не исправлял ошибок
и не считал столбов, бежавших вдоль дорог.
Но нежный клавесин и яростную скрипку,
как первую любовь, в душе своей берёг.

И пели мне они о юности и лете,
и были мне судьбой в наставники даны
закатные огни и васильковый ветер,
стенающий прибой и ангельские сны.

И пусть не дольше я, чем руны на асфальте,
и лягу в стылый прах рубиновым листом;
расскажет жизнь моя, как музыка Вивальди,
всю правду о мирах — об этом и о том.

